

Всегда при случае смотрю, как солнце уходит: вот прикоснулось к горизонту, вот снизу смялось чуть, вот на треть уже ушло... И напрягаться начинаешь невольно, словно уход его личное к тебе отношение имеет. Да и имеет: с ходом — уходом жизни твоей это связано как-то, пусть даже и не подумаешь об этом. Смотришь неотрывно, и не двигается оно, чуть взгляд отвёл — а оно уже ушло по пояс... Но всё равно много ещё осталось, только неотрывно надо смотреть, взглядом как бы его придерживая. Вот до последней капли дело дошло, а вот и последней уже искры... Всё. Напряжение гаснет за солнцем вслед, и сам ты на миг стал пустой и тёмный.

* * *

Слышал по ТВ отрывок из предсмертного письма Маркеса. Конкретному ли адресату оно было написано или “всем-всем-всем”, не сказали. Суть отрывка совершенно христианская: о том, что главное и лучшее в жизни — любовь. Кончается же всё фразой, трижды в письме повторенной: “Не за мысли будут меня помнить”. Очень странно. Как он мог даже предположить

* Продолжение. Начало в №10 за 2014 год, №9 за 2015 год.

такое? И возмущился ведь самому этому предположению, и отверг его решительно. Может, метафизичность, такая у него густая, стала его смущать к концу жизни, некая избыточность её?

А вот Толстой, проживший примерно столько же, к концу все большее значение именно мыслям своим придавал, в дневниках и трактатах ясно это видно. И не возражал бы, может быть, чтобы его помнили именно “за мысли”. Давались они ему трудней и мучительнее, чем всепокоряющая художественность, вот и ценил их больше.

* * *

Любил когда-то забрести на окраину самую неприглядную, замусоренную, уродливую: заборы, склады, трубы дымящие и парящие, древние какие-то пакгаузы... Промзона. Что тут, казалось бы, любить? А вот эту самую неподдельную, натуральную наготу жизни и работы человеческой. И энергетика в таких местах какая-то особенная, до лёгких мурашек по коже, словно ты на некоем сквознячке бытия оказался вдруг. Знобка, зябка, но чем-то и приятно. Вот этой самой натуральностью нагой.

Удивительно, что место для чтения стихов и разговора о поэзии (увидел недавно по ТВ) выбрали очень похожее на любимые мною когда-то окраинные промзоны, только под крышей: голые кирпичные стены с неряшливой кладкой, подмостки, трапы дощатые... Решили, наверное, что высшему и нежнейшему творению души и духа человеческого, поэзии, здесь самое место для контраста и заземления. Есть тут некий резон, хоть выглядит всё это и диковато. Некоторые же стихи, там прозвучавшие, никакого контраста с обстановкой и не давали, всё тот же был в них нагой кирпич, железки, доски, словно тут именно они и родились.

* * *

Трудновато стало на лыжах ходить, азарта, жадности мышечной почти уже нет, заставлять-подгонять себя приходится. Но ведь и стаж лыжный какой — 70 лет! Первые мои лыжи с последней военной зимой совпали, и сделаны они были из досок от бочки. Ну, и хомутики из пеньковой веревки к ним были прибиты. Ехать на них было почти невозможно, а вот пошагать-попадать — сколько угодно! Даже и с восторгом — я на лыжах, как большой! И вторые лыжи, уже “фабричные”, прекрасно помню, и третьи... Третьи, подаренные дядюшкой перед его уходом в армию, были сказочно хороши — военные, финские, трофейные, с дырочками на круто изогнутых концах. Ни у кого в нашем посёлке таких не было, и я прямо-таки дрожал над ними от восторга и тревоги, что отнимут или украдут. И ведь украли из коридорчика недели через две-три. Чуть не умер от горя.

Ну, а потом вся жизнь в обнимку с лыжами прошла. Где бы ни жил, везде можно было прямо у порога дома на них стать и ехать. Помню, зрелым уже вполне человеком бежал на лыжах самозабвенно, блаженно и пушкинские строчки из “Моцарта и Сальери” вдруг на лыжный лад переделал: “Из наслаждений жизни // одна любовь прогулке лыжной уступает, // но и она мелодия...” И запомнил, и не раз потом повторял...

Эту зиму, надеюсь, отъезжу, а последующие? Если они вообще будут, конечно. Какая-то ведь случится первой без лыж, и это будет горько. Клади древним людям в могилы вещи, самые в обиходе нужные, вот я бы по этому примеру лыжи рядом хотел иметь. Как-то оно веселее будет.

* * *

Посмотрим на происходящее взглядом Шекспира: такой совет есть в письме Пушкина Деливигу, да и самому себе, конечно. С высоты высокой, спокойно, душу не надрывая. Хороший совет, только сам он вряд ли когда ему следовал, а как бы было хорошо для благополучия житейского. Всё могло

по-другому пойти, но ведь великого поэта и человека тогда бы не было. Особенно по последней дуэльной истории такое видно. Не мог он иначе поступить — только стреляться. Теперь же слово “честь” пишется в словарях с добавкой “устар.” — устаревшее...

Много бед постигало Россию на её историческом пути, и гибель Пушкина, а вслед и Лермонтова — такие беды. Не случись они, вся история громадной страны могла бы сложиться по-иному, поудачнее.

О похожем влиянии Гоголя на судьбу России, только с обратным знаком, писал Розанов. О том, что он отвинтил внутри российского корабля некий винт, после чего тот неизбежно стал тонуть, и даже русско-японская война не могла быть выиграна. А винт этот — самоуважение, сильно пострадавшее от гоголевского изображения России.

* * *

Старение похоже на хроническую болезнь, которая развивается хотя и медленно, но неостановимо. По ходу “болезни” душа вырабатывает, к счастью, и лекарство, которое и облегчает, скрашивает развитие её. Происходит рост ценности того куска, кусочка жизни, который тебе остался и который становится всё меньше. Всё дорожает прямо-таки на глазах: и природа, и погода, и люди, и книги, и мысли, и воспоминания, и время само. Вот этим-то и оплачиваются, покрываются потери, тяготы и горести старости, порой даже и с избытком. Прямо по пословице: нет худа без добра. Смысл пословицы утешительно-житейский, а существует ли худо-зло в виде чистом и непоправимом? Может, и нет. Ведь даже Люцифер, ангел падший, отец зла, может спастись, если покается, так богословы христианские считают.

* * *

“Любить и лелеять недуг бытия”, — из стихотворения Баратынского “Дельвигу”. Можно такое с недоумением и протестом прочитать, можно и с согласием полным. От характера читающего зависит и даже от настроения. А вообще глубоко, но и темновато... Томас Манн же определял жизнь, как тепловую краску стыда материи. Тут уж совсем темно, хотя, если вдумываться упорно, то что-то всё-таки брезжить начинает.

Темны и стихи Велимира Хлебникова: то ли бред, то ли набор слов случайный... Но вдруг мелькнёт, как драгоценность в мусоре: “Русь, ты вся поцелуй на морозе...”

Один из журналов по теоретической физике прошлого века принципиально не печатал понятные статьи, предпочитая им непонятные, дикие, тёмные. И, может быть, выуживал изредка что-то драгоценное из этого потока.

* * *

“Мужайся, сердце, до конца. // И нет в творении Творца! // И смысла нет в мольбе!” — Тютчев. Ведь прямо и ясно, от себя лично, сказано, что автор безбожник, а всё равно в глубине души этому не веришь и правильно делаешь. Не может поэт писать боговдохновенные стихи и не быть при этом у Бога, в Боге, хотя бы во время их написания. Нечто подобное апостолом Павлом про любовь сказано, где она поставлена выше и важнее даже самой глубокой и горячей веры. Любящему уже и вера не нужна, потому что он в любви, а значит, в Боге пребывает. Вот пушкинское, всем известное, о любви самой земной, а всё равно Божественной: “И сердце бьётся в упоенье, // И для него воскресли вновь // И Божество, и вдохновенье, // И жизнь, и слёзы, и любовь”. На первом месте “Божество” и тут стоит...

Случалось же читать стихи духовные, где про Бога сплошь говорится, но Он в них как-то и не живёт. А в некоторых стихах того же поэта (Вла-

димира Богатырёва), вполне светских, Бог и не упоминается, а чувствуется несомненно: всё в той же к миру и к людям любви...

* * *

“Чем ближе ночь, тем родина дороже”, — строчки из стихотворения Станислава Куняева. Как много за этой строчкой встает — и война, и девяностые лихие годы века прошлого, и теперешняя пора... Это всё трудности, горести общенародные, но ведь и в отдельной человеческой судьбе точно так же: грянула беда, и жизнь, и родина вдруг подорожали. Прозаик Леонид Бородин написал в воспоминаниях, что ему, отбывавшему срок в лагере, куняевская строчка выживать помогала...

* * *

Бед настоящих набирается, кстати, не так и много. По-народному — война, тюрьма да сума...

Пришлось прочитать почти подряд рассказ Шукшина “Алёша Бесконвойный” и стихотворение Рубцова “Добрый Филя”. Удивительно, как они похожи, Алёша и Филя. Оба пастухи, оба молчуны, оба любят всё и всех. И чувствуется, что для авторов они не просто персонажи, но некие идеалы авторские.

Тот самый “золотой век”, который, по слову Достоевского, у нас в кармане, они из кармана уже достали и живут в нём. И из чего же он состоит, этот “век”, для всех возжеланный? Только из любви.

*Мир такой справедливый,
Даже нечего крыть...
— Филя! Что молчаливый?
— А о чём говорить?*

Так стихотворение Рубцова кончается. Можно себе представить и монаха, давшего обет молчания, для которого это не испытание, а радость. Если мир Божий любишь, то незачем эту любовь словами всякими-разными портить и мутить. Молчание золото, вот и помолчи.

* * *

Хорошо помню, как в школе русскую литературную классику изучали много-много, сочинения писали про Онегина, Печорина, Кабаниху... И музыку классическую, симфоническую приходилось поневоле слушать из чёрной воронки репродуктора — не переключишь. Такое было “принуждение к культуре”, употребление современный речевой оборот. Из всех принуждений самое, может быть, простительное. Да что там — нужное, необходимое даже! Иначе с детективами, “дамскими” романами и эстрадно-музыкальными шоу будем мы дичать и дичать.

Когда широко отметили столетие после смерти Пушкина и ввели широкое изучение русской литературной классики в школе, философ — эмигрант Георгий Федотов написал: “Спасена Россия!” И был совершенно прав. Такой крутой культурный поворот был чудом, уберегавшим душу народа на многие десятилетия вперёд. Что-то даже провиденциальное в нём было — Пресвятая Богородица России помогла в очередной раз, быть может...

В последнее время поговаривают в СМИ, что учить детей писать от руки незачем, пусть печатать сразу начинают. В Финляндии, например, уже и стали делать так, вот и нам бы... Брезжит тут и продолжение — разговаривать, в конце концов, окажется лишним, эзэмэски друг другу проще посылать...

Жизнь и судьба Николая Рубцова были тяжелы на редкость, но в стихах его это отразилось мало. Основное и глубинное в них — свет. словно получил он от судьбы чёрный уголь и огромным, тайным душевным трудом пережёг его, превратив в свет любви. К родине, прежде всего. А Юрий Кузнецов, его сосед в ряду русско-советских поэтов-классиков, имел житейскую судьбу гораздо легче, но душевный, поэтический труд его был по тяжести близок Рубцовскому. Стоял одиноко, как воин-богатырь, на страже России, пока не рухнул на этом посту.

Посмертная же их судьба как поэтов сильно различается. Рубцова любят многие, а Кузнецова редко кто, потому что для этой любви героическую, как у него самого, натуру надо иметь, а таких людей много не бывает.

* * *

Есть у позднего Толстого дневниковая запись о том, что хорошо бы написать роман под названием “Жратва”. О том, что люди думают, что они занимаются то тем, то этим, а они заняты в основном жратвой. Теперь же такой роман был бы ещё злободневней: богатые страны вымирать скоро начнут от ожирения своих граждан. Да и мы в этом не совсем в стороне стоим. И на экранах, и в журналах глянцевого бесконечная еда завлекательная, а следом способы похудения...

Спросили однажды балерину Майю Плисецкую, как она держит себя в прекрасной физической форме, и она ответила совершенно по-толстовски: “Сижу не жрамши!”

* * *

Много раз приходилось бывать в мастерских художников, и всегда казалось, что они, мастерские, из лучших мест, которые вообще есть на свете. Тут и остаточный гул работы недавней, идущий годы уже и годы, тут и плоды её, картины и скульптуры вокруг, и вещи старинные вроде прялок и самоваров, в которых времени глубина, тут и беспорядок милый, и порядок, одному художнику-хозяину ведомый. И мастерская это, и жильё, и берлога...

Недавно в мастерской у художника А. хозяин показал свою картину, которой был недоволен, а чем конкретно, сам никак не мог понять. Хорошая картина, да ещё и большая, сколько труда и времени на неё было потрачено! Но какая-то “нескладёха” в ней действительно чувствовалась. Долго её рассматривали, пока один из присутствующих не сказал, что надо бы немецкие самолёты вдали на горизонте убрать. И все согласились сразу: да, именно это! А художник обрадовался прямо-таки, словно увидел картину иной, лучшей гораздо. словно “нескладёха” эта самая вдруг исчезла.

Тут мне и вспомнилось, как вычёркивал не раз какой-нибудь кусок, конец особенно, из рассказа, и тот из вялого, полуживого чудом каким-то становился живым. И до сих пор не могу твёрдо сказать, что полезнее для уже написанной вещи: удачная добавка или удачное сокращение. Второе, пожалуй...

Тут и вспомнился научно-популярный фильм, в котором было сказано, что пустоты в природе нет, мы же пока просто не знаем, что в ней, в пустоте, и как это на нас влияет.

* * *

Писать кратко или пространно — дар писательский определяет, и решения умственные, рациональные мало что в этом могут изменить. А дар и для самого носителя остаётся тайной. Ценность же краткости или объёмности —

лишь в конкретном проявлении видна. Нечего было бы и думать о сокращении шолоховского “Тихого Дона” или увеличении, “расписывании” Бунинского “Солнечного удара”.

Особняком тут стоит краткость Библейская, Богоданная. “Да любите друг друга”. Четыре всего слова, изменившие мир...

* * *

Друг со студенческих ещё лет недавно уехал в Канаду, в Ванкувер, и в первом же с ним телефонном разговоре я спросил, что из окон квартиры видно? Ответил: мост через залив. Что ж, очень даже неплохо.

А спросил хоть и спонтанно, но ведь и не случайно. Есть тут нечто существенное для жизни — что за окнами твоими изо дня в день. На душу это влияет.

В первое моё окно видел я поле и небо, а в последнее вижу сад и небо: хорошо так совпало, защёлкнулось, лучшего и желать нельзя. А между этим чего только не виделось, даже Останкинская башня на фоне неба, милая вполне...

Лучший же вид из окна встретился в селе Ахлебинино под Калугой, где пришлось пожить и поработать. Барский дом был там прямо-таки врезан в высокий берег Оки, и взгляду ничто не мешало видеть лишь крутой береговой склон, Оку на повороте, другой крутой берег и небо над ним. Ясно так представилось, помечталось, что хорошо бы всю жизнь смотреть на всё это и не делать больше ничего...

* * *

“Горизонт событий” — понятие, термин из современной космологии. В том смысле “горизонт”, что находящееся за ним нельзя увидеть, узнать в принципе. Никому и никогда.

Услышав о таком впервые, прямо-таки ужас мгновенный ощутил, словно в тюрьму вдруг попал навеки. А потом подумал утешительно, что жизнь человека, понимаемая лишь в материальном смысле, и есть безвыходная тюрьма, а дух живёт, где хочет...

* * *

Воспоминания путешествиям сродни, только скорость иная и причины воспоминаний непонятны чаще всего.

...Вокзальный буфет, пирамидка каких-то плодов красивых, на яблоки немного похожих, за стеклом. Цена удивительная — всего 3 рубля. Сбежал к матушке, вернулся с трёшкой в кулаке.

— Дайте вот этих... килограмм.

Большая, широкая тётка — буфетчица — улыбнулась по-доброму:

— Мальчик, они за штуку так стоят.

Растерялся, но ответ свой помню дословно:

— Тогда не надо.

А вот, вскоре, вокзальный ресторан, такой огромный и такой пустой, что даже двигаться в нём было неловко и страшновато.

Матушка попросила тётку, чем-то похожую на буфетчицу, принести одну порцию супа и хлеб.

— На две тарелки разлить? — спросила тётка заботливо.

— На две, на две! — обрадовалась матушка.

Суп оказался вкуснейшим, но с какими-то непонятными, горьковатыми маленькими сливками, совсем, казалось, лишними в нём...

Чудесное путешествие. И мальчик славный, и тётки, и суп с оливками. И время примерно угадывается, а я, путешественник, просто знаю — пятидесятый прошлого века год...

Анатомия на первом и втором курсе института. Труднейший для изучения и экзаменов предмет — знать устройство человеческого тела до мелких подробностей, да ещё и по латыни это называть. Самым сложным и важным считался череп, их пытались достать “на руки”, чтобы не торчать в анатомичке.

Вот и сидели в укромных уголках института или даже общежития парочки. Тесно, уютно даже так сидели, склонившись друг к другу, с книгой и черепом на коленях. Любовные парочки чаще всего, конечно. И как тут было не вспомнить, мимо проходя, шекспировского Гамлета с черепом любимого шута Йорика в руках и знаменитый монолог: “Бедный Йорик...”

Сам я так не сиживал, но понять пытался: чувствуют ли они, парочки эти, некую двусмысленность, трагикомичность даже такой ситуации? А теперь уверенно почти думаю: нет. Делом были заняты, грели друг друга коленями и плечами, вот и всё... Вдобавок и целоваться можно было, книгу и череп отложив...

* * *

Любовь есть самоотдача и самообретение одновременно. В реальности такое лишь мелькает туманно и разорванно, а если это в определённости конечной представить? Тогда совместный уход любящих на самой высоте, накалие любви нужен, чтобы не портить её неизбежно снижением и ущербом. Уход до встречи в мире ином, которую представить невозможно. Можно лишь верить, что она произойдёт...

* * *

Когда попадаете по ТВ что-нибудь про Эфиопию, всегда это с особенным интересом смотришь: один из генных корней Пушкина тут. И не такой уж дальний, если он сам о себе написал: “Потомок негров безобразный...”

Смотришь на эфиопов и начинает казаться, что некоторые лица и впрямь что-то пушкинское в себе имеют. Главная же площадь Аддис-Абебы стадион напоминает по количеству бегающих по ней кругами, тренирующихся людей. Оно и понятно: стайеры — мировая слава Эфиопии. И Пушкин этому был близок, проходя десятки километров от Петербурга до Царского села. Может, и бегал бы, да не принято тогда это было.

Удивительна и главная еда эфиопов, самая, может быть, простая в мире: листья пальм, испечённые на углях. И тут Пушкин вспоминается, больше всего любивший испечённый картофель: проще некуда для его социального положения.

В географическом атласе отмечено, что Эфиопия — беднейшая по доходам на душу населения страна мира. Даже огорчился на миг за Пушкина, прочитав такое, а потом подумал, что он и этому был не чужд. Вещи в конце жизни в ломбард закладывал, а это уж крайняя нужда...

* * *

Тайна человеческого взгляда велика есть. Вход в космос человеческий, и манит он, и страшит одновременно. Если даже в глаза любимого человека смотреть, то всё равно жутковато порой бывает от глубины и догадки, что она бездонна.

Поразительна смена выражения глаз и непонятно, отчего она зависит. Не от общего же выражения лица, потому что можно увидеть злые глаза на лице улыбающемся, и добрые — на злом. И чувствуешь, и веришь, что душа таинственной, Божественной силой создаёт напрямую и выражение глаз, и его перемену.

Есть в “Войне и мире” Толстого эпизод, когда Пьер стоит перед маршалом Даву и тот решает его судьбу. Их глаза встречаются, и служебный, армейский взгляд Даву делается вдруг просто человеческим. И эта перемена спасает Пьеру жизнь.

Да и вообще в служебных, армейских, чиновничьих делах “человеческий” взгляд не желателен, а то и просто нетерпим, потому что условность этих дел сбивает и запутывает. Описан не раз крик офицера на солдата в 19-м веке: “Как смотришь?!” Смысл в том, что глаза у солдата оказались не оловянно-служебные, а человеческие. Но ведь тогда и обращаться с ним надо по-человечески, что гораздо трудней и сложней.

* * *

Не перестаю удивляться обилию птиц на нашей окраине, ни в поле, ни в лесу никогда такого не видывал. А причина проста — граница между городом и вольной природой у нас тут проходит.

Самое это богатое во всех смыслах место — граница. Не только для птиц, но и для людей тоже. И живут они охотнее и гуще всего на границах суши и воды, леса и степи, гор и равнин. Даже в окрестностях вулканов действующих — на границе коры земной и лавы огненной. И в науке богатство зон пограничных заметно, чаще всего открытия совершаются именно в их пределах.

Пограничье между верой и неверием тоже большие возможности даёт. Проходя его, человек многое может сделать как бы попутно, в литературе и искусстве особенно.

* * *

К работе подталкивают, понуждают две причины, переплетённые тесно и прихотливо. Первая и вполне негативная — тоска, которая непременно наваливается без работы. Ни места себе не найдёшь, ни заняться чем-нибудь посторонним толком не можешь. Плохо и плохо. И опять плохо... И знаешь при этом, что хорошо станет, только если работать начнешь и она пойдёт, работа. А замысла, затравки живой у тебя нет, если же придумывать начнёшь, то придумки эти такой мертвячиной окажутся, что станет ещё хуже. Длится эта полоса тоскливая и длится, и кажется уже, что не будет ей конца. Но он приходит-таки в виде точки некоей живой и тёплой, невесть откуда взявшейся. То человек мелькнёт, то событие житейское, а то и просто бельё на верёвке под сильным ветром... Вот это и есть начало, выход из тоски. Дальше уже вторая причина для работы идёт, вполне позитивная: желание написать про только что мелькнувшее, острое до мурашек по коже. Потом картинки воображения пойдут, сбегаящиеся, как на магнит, а там и фраза первая, вторая... А дальше и совсем хорошо тебе станет, если “точка” оказалась истинно живой, не обманной. Временами текст, как под диктовку, пишется, а кто диктует, не знаешь, да и знать не надо...

Когда же начинает просматриваться конец работы, то первое, слабенькое пока совсем, беспокойство возникает: вот напишется эта вещь-вещица, а дальше что? Опять тоска зелёная? Нет уж, надо что-то заготовить наперёд, подстраховаться...

Вот и идут такие циклы, то короче, то длиннее, всю, в сущности, жизнь, и ты к ним прикован, как к галерному веслу. То плохо тебе, то хорошо, то опять плохо. И не бросить всё это никак...

* * *

На бельё под ветром долго смотрел, не мог оторваться. Особенно простыни зачаровывали: вытягивались параллельно земле, а потом и к небу разворачива-

лись круто. Этим, конечно, и зачаровывали, судьбу человека напоминая: потреплется, помается он на ветру времени, подержится в меру сил, да и улетит.

Известные многим строчки Ахматовой: “Когда б вы знали, из какого сора // растут стихи, не ведая стыда”, и к прозе отнести можно. И там из мелочей, из пустяков нечто важное вдруг вырастает. Ромеидос Прекрасная из “Ста лет одиночества” Маркеса, вознесшаяся на небо на перкалевых простынях; девочка, взбирающаяся на дерево в измазанных сзади землей штанишках и сыгравшая важную роль в замысле “Шума и ярости” Фолкнера; “породистые” завитки волос на затылке дочери Пушкина, увиденные Толстым и помогшие ему образ Анны Карениной представить.

Да и вообще, “сора” для художника, писателя, композитора, может быть, и нет, как нет для химика “нечистых” веществ. Есть лишь “детали” мира до самых мелких, и каждую можно в работе использовать.

Видел как-то небольшую картину: зелёная трава на фоне голубого неба, а в центре — окурок, написанный сильно и едко. Впечатляет картина, а что в ней? Окурок, сор? В бытовом смысле, конечно, а в художественном — герой главный, резко отрицательный...

* * *

Лет пять назад, в жестокий криз гипертонический, захватил с собой в больницу “Евгения Онегина”. Начал читать, наслаждаясь текстом не был способен толком вникнуть, но хорошо запомнил, когда в суть текста не было: строфы взлетают, летят, и ты лежишь вместе с ними.

А на днях перечитал “Онегина” в очередной раз и сразу вслед статью Валентина Непомнящего “Евгений Онегин” как “проблемный роман”. Про роман — что и говорить! Но ведь и статья совершенно чудесная в своей простоте и глубине! Дай Бог Валентину Семёновичу пожить и поработать подольше. Великий пушкинист, и будет ли ему на этом ответственнойшем национальном посту смена?

Пушкин создавал образ Татьяны как некий идеал девушки, женщины, да так в тексте и сказано: “Татьяны милый идеал”. А что было бы, если бы она сказала Онегину “да”? Крушение идеала и национальная катастрофа. Россия стала бы чуть другой, хуже. И великие стихи и песни о любви и верности во время войны не были бы, возможно, написаны, и не выиграна, быть может, была бы даже и сама война...

Есть ли в нашей литературе мужской идеальный образ? Разве что Григорий Мелехов из “Тихого Дона” к этому приближается, при всех его грехах.

* * *

Две фразы, каждая по-своему, изменившие мир: “Заповедь новую даю вам — да любите друг друга”. И “Призрак бродит по Европе — призрак коммунизма”. В одну сторону обе направлены, к устройению счастья людей, только способы оказались разные. В первом случае свободный выбор, а во втором — принуждение, вплоть до уничтожения сопротивляющихся.

И как точно, глубоко, исчерпывающе прямо сказано: “призрак”. В одном этом слове все последующее видится: попытки воплотить “призрак” упорнейшие, а в конечном счёте — бесплодные. И страшные неизбежно.

* * *

Попалась как-то запись в дневнике немецкого офицера-врача о том, что среди наших, угоняемых в Германию, девушек, подавляющее большинство — девственницы. Запись сделана с удивлением и даже с тревогой за исход войны. Странная, на первый взгляд, тревога, но потом вдруг и понятная. Ждут девушки возвращения своих парней-женихов, да глядишь, и дождутся с победой.

Вот тут и вспомнишь “нет” Татьяны Онегину и подумает, что женская верность силу народа укрепляет и в мирную пору, и в войну.

* * *

Путь христианина и, особенно, монаха — борьба с гордыней, со страстями, с суетностью житейской и многим, многим ещё. Если она успешна, то человек всё чаще и всё дольше осознаёт себя перед Богом и с Богом. Нечто похожее даёт человеку старость сама по себе: гаснут страсти, смиряется неизбежно гордыня, отодвигаются заботы мирские...

И оказывается старик, даже и невольню, перед Богом. Или, если он атеист, перед исчезновением полным. Говорят, что в окопах атеистов не бывает, но, может быть, их не бывает и в глубокой старости? Смертные ведь в обоих случаях рубежи. Вся жизнь человека — к Богу путь, а в старости путь этот всё определённое, всё прямее и короче, и потому приход к цели всё неизбежней. Какой ты ни будь атеист, а перед смертью Бога вспомнишь, попросишь помочь и поддержать...

* * *

Перед отправлением автобуса в Смоленск пошёл с внуком и его женой погулять — постоять на железнодорожном мосту. Было два таких у меня в Курске и Воронеже: особенное совершенно место. Высота, рельсы внизу блестят, как перепутанные струны, огоньки красные, зелёные, синие и вагоны, вагоны... И постройки станционные грубые, тяжёлые, старинные. Хорошее место, о путях-дорогах говорит и их показывает. Вот по этим рельсам блестящим полмира с пересадками объехать можно, всю Евразию, по крайней мере.

Взгляд обновляется высотой, и так приятно видеть среди станционного железа домик аккуратнейший, игрушечный прямо-таки и две зелёных высоких свечи можжевельных по его сторонам. Что-то южное в этом есть, курортное...

У начала пригородной платформы — памятник паровозу: серия О. В., “овечка” маневровая. И надпись на памятнике хорошая, запомнившаяся: “Труд твой тяжёл, путь твой славен”.

Много пришлось помяться на железнодорожных наших путях сообщения, но даже маята эта вспоминается тепло, нежно почти. Было в ней что-то нужное, необходимое для души, как витамины для тела. Эти пути, эти рельсы к земле нашей огромной словно бы пришивали нас накрепко...

А вон громадные окна ресторана вокзального светятся, с которым, уж конечно, многое связано. А перед ними перрон, с которого сын шесть лет в Смоленск ездил и хорошо об этом написал в книге “Дороги”.

Гуляем, стоим мы на мосту как-то странновато. Внук с женой Соней меня сторонятся, а я их. Но ведь и понятно: они больше вперёд смотрят, а я назад. У каждого своё.

На автобусной остановке большинство молодых, и одеты они, на мой взгляд, не по погоде: слишком легко. На одной девице уж совсем что-то непонятное, то ли пальто тонкое, то ли платье толстое. Холода они, похоже, меньше опасаются, чем мы когда-то...

* * *

Приходилось писать и на самой плохой, и на самой лучшей по качеству бумаге: плотной, блестящей, с синеватым отливом. И вот эта, лучшая, оказывалась самой неприятной, отталкивающей, прямо-таки чуждой, вот именно. Нечто похожее и с жильём бывает. Если дом огромный, роскошный, то ведь и он воспринимается, как чуждый, и никак ему твоим, родным не стать. Будешь жить, как в гостях.

Кинорежиссёр Тарковский сказал в интервью по поводу недавно полученной квартиры, что она, конечно, прекрасная, но ему её никогда не полюбить. А любил он, судя по фильмам, бедность, скудность и затрапез. Из военного детства набор...

Случается подобное и в семье. Лежал как-то на коктебельском пляже рядом с пожилым поэтом, и к нам молодая, крупная красавица, жена его, подходила. Он и сказал с тоскливой неприязнью: “Ну, куда мне такой дворец...”

* * *

Разница между обычным, повседневно-жизненным состоянием и состоянием рабочим, очень велика и трудно преодолима. Это как дверь тяжеленную, тугую, никак не поддающуюся, наконец-то открыть и шагнуть за порог. Куда? А вот туда, в рабочее состояние, вдохновением по-старинному именуемое. Пушкин в одном случае назвал его “дрянью”, а в другом — “священной жертвой”. Вот и присоединяйся, куда хочешь, к суждению гения или при своём “рабочем состоянии” останься.

Если удалось-таки в него, состояние это, войти сколько-то раз и написать что-то законченное и удачное, то потом, перечитывая, искренне удивляться начинаешь тому, что это именно ты написал: слишком получилось хорошо для такого остолопа...

* * *

Пушкин видел задачу поэзии в стремлении к идеалу и осуществлял это неуклонно. Сами пороки даны у него в некоем высоком, “идеальном” выражении и потому не вызывают у читателя обычного возмущения, протеста, брезгливости, но даже сочувствие рождает порой. Вот Скупой рыцарь, который наслаждается не богатством, а лишь идеей, потенцией его; вот завистник Сальери, который к небу, к Богу самому обращается с упрёком в несправедливости; вот развратник Дон Гуан, вдруг оказавшийся способным на истинную, самоотверженную, любовь...

Все грешники большие, но ведь не хочется ни отвернуться, ни бросить камень. Это люди, но ведь и чума, бич Господень, возводится у Пушкина в “царицу грозную” и устаивается гимна. А значит, гимна достойно всё творение Божье, всё, что ни есть в нём...

* * *

*Зачал старинушка покряхтывать,
Зачал старинушка покашливать,
Пора старинушке под холстинушку,
Под холстинушку да в могилушку.*

Толстой записал эти народные стихи в дневник и восхитился их картинностью, трогательностью и серьёзностью. Но ведь есть в них еще и что-то милое и даже, странно сказать, притягательное. Прочитаешь и захочется, хотя бы на миг, и под “холстинушку” и в “могилушку”.

А еще и на кладбище сельском, уютном в хорошую погоду тоже вдруг этого захочется: и не на миг, а гораздо дольше...

* * *

Умер Валентин Распутин... Большое горе: и личное, и общее. Редчайший был человек, начиная с внешнего облика, манеры держаться и говорить, глубоко народной и глубоко интеллигентной одновременно. Если кто-нибудь

его книг не читал, а видел и слышал впервые, то вполне мог подумать: вот этот скажет только правду. Он её и говорил.

А в прозе его беспримерное соединение коренного, земного с высшим, небесным. Как пальцы рук переплетённые — не разделить.

Когда живёт в одно с тобой время великий писатель, то чувствуешь, пусть и полусознательно, некую крышу над собой и над всеми. Уж он-то увидит в трудную минуту самое главное, самое нужное и подскажет, как быть. А если он уходит, то все сиротеют вдруг, независимо от возраста. Шолохов, Твардовский, Белов... Сострададьцы, печальники, защитники народные. А теперь вот и Распутин нас оставил, и надо жить одним, без него. Но ведь и остался он с нами: в книгах, где и боль его за народ, и дела, и мысли. И даже мы там вписаны и существуем с ним, автором, вместе.

На церемонии прощанья было видно, что люди чувствуют сердцем огромность потери, что Валентин Григорьевич многие годы был не только великим русским писателем, но и душой, и совестью России.

* * *

Неожиданно для себя стал приносить с утренней прогулки с собакой цветы попутные. Что-то старческое есть в этом, как предчувствие скорой с нами разлуки. Можно так, как пришёл в кулаке, в вазу их поставить, и выглядит это приятно и естественно, словно самого поля кусочек. Но можно и перебрать цветы, сделать нечто вроде букета, и странно — некий отпечаток тебя самого в нём замечается. Тебя вообще и твоего настроения, состояния, в частности. То кривой, асимметричный букет выходит, то уравновешенный вполне. А самые лучшие, редкие букеты некую середину занимают между этими двумя крайностями: неустойчивого равновесия, готового нарушиться вот-вот. Саму жизнь, принцип её они этим напоминают: держись, но и исчезнуть будь готов.

* * *

Сорок восемь лет прожил Толстой с женой и всё это время понять старался, какая она и почему такая, как есть? А к концу совместной жизни записал в дневнике по-народному, с поразительной, признающей тщетность своих долгих усилий, простотой: такой уж её мать родила. Прочитаешь это, да и улыбнёшься невольно. Где уж нам, грешным, друг в друге разобраться, если сам Толстой не смог... Человек тайна есть, так сказано. И до конца не разгадать её никому и никогда.

Перед уходом из дома, когда отношения с женой стали совсем уж невыносимыми, Толстой ежедневно почти ездил верхом по сырым, скользким и опасным ноябрьским дорогам. Сопровождавший его постоянно Маковицкий отмечает какую-то особенную рискованность его езды: через буераки, овраги, ручьи, почти не снижая скорости. Почему так? Может, падения с лошади и последующей смерти искал подсознательно, чтобы хоть так разрубить семейный мучительный узел, если уж развязать его не получалось? Да и сам уход был, в сущности, в смерть, и он понимал это, скорей всего...

* * *

“Лишь бы не было войны” — семьдесят уже лет это главное пожелание народное. Но теперь, когда ею вновь запахло, никто за солью и спичками вроде бы не бежит. И потому, что людей, вполне испытавших на себе, что такое “большая война”, осталось уже немного, и потому, что все понимают, что по-настоящему долгой, до острой нехватки той же соли, современная война быть не может. Чудовищная сила оружия её резко укоротит...

“Но поражений от победы // ты сам не должен отличать”. Не раз в жизни вспоминалась в трудные минуты эта пастернаковская строка и помогала. А суть в том, что крайне трудно, а то и невозможно бывает порой понять, что это у тебя произошло: поражение или победа? Ошибиться можно, имея в виду дальнюю перспективу. Победа бывает чревата поражением, а в поражении хранится иногда зерно победы. Вот и не путайся в этих туманных оценках, и гни свою линию до конца. И суждения со стороны поменьше слушай.

* * *

Существовал в советской нашей жизни 60-70-х годов некий особенный уют. Где бы ты ни оказался, везде был, как дома. Народ — семья, так примерно.

Мы с приятелем, студенты-медики, проходили практику в городе Грязи, самым Петром Великим, по легенде, так названном. Проснулись в первое там утро, и ни одежонки своей, ни чемоданчиков-баульчиков не обнаружили. Остались, как спали, в майках и трусах. Приодели нас быстренько — кто что принёс. Мне достались грязно-белые штаны размера на три больше и синяя футболка-подергушка, куцая и тесная. Чарли-чаплинский такой получился прикид, даже мило показалось, когда это заметил.

Жили потом всю практику в недостроенной поликлинике, с кроватями, стоящими на голой щёбёнке. Кормились при кухне, вскрывали покойников (патанатом был в отпуске), с оплатой сразу на руки, курили махорку, читали “Феноменологию духа” Гегеля, которую мой приятель притащил из городской библиотеки. Как сейчас вижу: идёт навстречу со здоровенной книгой под мышкой, словно Буратино с букварём. Да ещё две наших студентки припоздавшие к нам вскоре присоединились. Одну из них звали Евдокия, Евдоха, если по-свойски... Съездили и в Воронеж за стипендией на крыше вагонной, и это была самая, может, приятная поездка в жизни... И много ещё чего в этих Грязах было интересного, и вот именно что домашнего, уютного. Да и само ограбление было каким-то не вполне настоящим, вроде шутки дурацкой. Тоже уютное почти... И документы нам вернули, в больницу подкинули, как водилось в ту пору. Хорошо, если водится и теперь...

* * *

“Привычка свыше нам дана, // замена счастью она”. От одного прочтения пушкинских этих строк кажется, что жизнь уже чуть полегче стала. Привычка так уж знакома и мила, что, кажется, готов на неё променять счастье это туманное и всё недостижимое. Она, привычка, усилие жизненное уж если не снимает, то уменьшает резко, и этим притягательна и приятна. Выбор, который всегда тяжёл, не надо делать: поступай по привычке, только и всего. Одно опасно: уйдёшь так глубоко в колею привычки, что можешь и не выбраться потом. Всё будет привычно настолько, что жизнь может стать почти незаметной. Да, но ведь именно этим счастье и заменяется в конечном счёте: незаметностью жизни по привычке. Бремя жизни, выбор этот самый бесконечный если уж не снимается, то облегчается сильно. А мы и рады — так, что ли?

Не раз о близости и взаимозаменяемости счастья и привычки писали. Вот Шатобриан: “Если бы я имел безрассудство ещё верить в счастье, я искал бы его в привычке”. Какая близость к Пушкину, но ведь и разница какая! У Пушкина привычка замена счастьем, а у Шатобриана счастье в ней же, в привычке и есть.

А ещё и возраст играет тут большую роль. Молодым подавай только счастье, а люди пожившие устают от его поисков и уходят волей-неволей в привычку. И есть в этом горький привкус поражения...

* * *

“Работай и молись, и жизнь твоя пройдёт незаметно”, — совет одного католического богослова. Очень близко к написанному о привычке: в незаметности жизни, хотя и при других условиях. К этой “незаметности” ещё и счастье близко стоит по известному выражению, что “счастливые часов не наблюдают”... Так хороша ли она, эта незаметность, или плоха? Не могу твёрдо ответить. И то, и другое вместе...

* * *

Прекрасный прозаик Владимир Богатырёв сказал как-то, что в писательстве своём поставил точку и занят теперь лишь “молитвенным трудом”. Оставил труд “низший” и перешёл к “вышнему” труду. Сложно такой переход понять. Ведь истинное искусство угодно Богу и может потому до него доходить, как и молитва. Скорей всего, душа писателя не захотела больше писать-сочинять, а захотела лишь молиться. Но ведь и на эту перемену, в конечном счёте, воля Божья должна быть...

* * *

Посмотрел на буйно цветущую в саду вишню и вдруг подумал о её корнях. Какая разница непреодолимая, кажется, но и какое единство неразрывное и цветов, и корней. Слово символ любви небесной (цветы) и любви земной (корни). Ни цветам без корней, ни корням без цветов не быть, не жить. В людской любви тоже существует и часть земная, и часть небесная, но как же мучительно и сложно они перепутаны. Не совладать с этим, не разобраться, а всё-таки усилие такое делать необходимо, чтобы не спутать грубо цветы с корнями...

* * *

Зачаровывает при долгом взгляде то, что, беспрерывно двигаясь, меняясь, в то же время остаётся, в самой своей сути, неизменным: бегущая вода реки, волны моря, кроны деревьев под ветром... В этом угадывается некая возможность идеала для души человеческой: и движение, и покой одновременно. Вот душа и замирает, очарованная этим идеалом.

* * *

В очередной раз попытался прочитать “Аду” Набокова и опять не смог, просмотрел только: непреодолимая мертвечина текста, литературная игра наёмков, сопоставлений и цитат, вполне понятная, похоже, лишь автору... Не верится даже, что “Защиту Лужина” и “Дар”, и “Лолиту” написал тот же человек. А последняя страница романа совсем уж добивает: откровенно рекламный текст, этот самый роман восхваляющий. Даже неудачей творческой “Аду” трудно назвать, скорее, падением писателя и человека.

“Отвяжись, я тебя умоляю...” — начало набоковского стихотворения, обращённого к России. Вот и подумаешь, не во время ли писания “Ады” Россия, наконец, его мольбу выполнила. И сорвался он, как с якоря, и улетел в пустоту.

* * *

Толстой, уходя из дома, в сущности, в никуда, взял-таки с собой недописанную статью. Да и как иначе? Работа — главная после Бога опора для человека, за неё и держись до конца. И тут все, любящие своё дело, равны,

от великого художника до крестянина простого. Глеб Успенский в очерке “Власть земли” вспоминает о старике, стоящем на краю могилы, который с плачущими нотами в голосе говорил, что овёс у него был крестецкий, тяжёлый-претяжёлый, и что, как примутся бабы до света жать, что огнём палят! Так говорил, как могла бы говорить и состарившаяся Сара Бернар о своей лучшей роли.

* * *

Проход Бессмертного полка на праздновании 70-летия окончания нашей Великой войны и Победы был вершиной праздника, горьким и величественным чудом, которое можно повторить, но нельзя превзойти.

Дети же войны с их воспоминаниями будут последними, кто удерживает войну в *живом* ещё виде. Уйдут они, и лишь тогда война станет историей в полном смысле этого слова. А мне даже и записать удалось, что помню: немец на рыжей лошади, выхвативший меня из рук матушки, ствол зенитки за окном хаты...

Бессмертный полк же сможет проходить в нужный день, пока будет существовать Россия. Только фотографии павших будут нести не дети и внуки, а праправнуки...

* * *

*Город Тим крутой горою
Словно в небо уходил,
Возвышаясь над рекою,
Словно крепость Измаил.*

Это первый куплет песни про родной мой Тим, в войну сложенной и поющей до сих пор. Легко догадаться, какая заваруха была при взятии этой “крепости” неоднократно. И склоны горы нашей крутой были густо покрыты шрамами окопов и воронок. И жили мы, пацаны тогдашние, среди снарядов и мин неразорвавшихся, среди патронов, тола, пороха... И калечились всем этим, и гибли. Дружок мой Толик подорвался, сидя на снаряде и ковыряясь в нём. Хоронить нечего было...

А потом, после школы, я жил и учился в Воронеже, который был в войну разрушен почти, как Сталинград: линия фронта через город больше года проходила. Теперь же полвека живу на окраине Калуги, у оврага, где бомбовых воронок гораздо больше, чем на тимской нашей горе, одна на одну наезжает буквально. Склад тут рядом был большой, артиллерийский, ну, и бомбили его — гуще некуда...

Что ж, судьба у меня, что ли, такая была, чтобы жизнь прожить в таких местах особенных? Нет, война такая была, что доставала всех, так или иначе.

В байдарочном походе по нашей прекрасной реке Воре можно раз за разом заходить в прибрежный лес за дровами и видеть одно и то же: окопы, окопы и много колючей проволоки, то нашей, то немецкой. Присматриваясь и узнаешь: вот наша, полуистлевшая, а вот немецкая, гораздо сохранней, да ещё и гранёная, чтоб колючки на ней не крутились. И это больно царапает по сердцу смутной и непонятной какой-то виной...

Там же, на Воре, видел одинокую могилу — холмик, едва заметный, крест и каска проржавевшая рядом. Похоже, нашёл кто-то останки солдатские случайно, да и похоронил. Хорошее место, высокое. Луг видно, реку и лес на том берегу...

* * *

Герб родного моего Тима: коса, ружьё и соловьи, в ряд, наискосок. Лучший из всех, какие видел. Всё главное тут есть: орудие труда, важнейшее когда-то, орудие защиты и охоты, да ещё и соловьи, как символ поэзии

и природы. Пусть я пристрастен в оценке, но ведь и впрямь чудесно: ни убавить, ни прибавить.

* * *

“Не трогай того, что лежит спокойно”, — какая мудрость глубокая. Относится она и к делам важнейшим, государственным, общечеловеческим даже, и к самым простым, житейским. “Легит спокойно”, значит, уравновешено и в самом себе, и в мире окружающем. Вот и не трогай его, не нарушай равновесия, иначе эффект снежной лавины можешь получить и под ней оказаться.

Перемены в мире решительно во всём такую набирают скорость, что консервативное, сдерживающее начало должно играть всё большую роль, иначе костей скоро можно не собрать. “Столкновение с будущим” — читал когда-то такую книгу, содержание которой вполне видно в заголовке. Самое же опасное — в быстро растущем разрыве между громадной уже сейчас мощностью науки и техники и падающей нравственностью людской. Вот эти “ножницы” могут, в конце концов, человечество поперёк и “перерезать”.

* * *

Фильм франко-германский: супруги, жизнь очень долгую прожившие. Одиночество, хвори, забота друг о друге. А потом болезнь её тяжелейшая, смертельная, с болями нестерпимыми. Она умоляет его помочь ей умереть, и он это делает, в конце концов, подушкой. И вскоре умирает сам.

Всё в фильме показано просто, прямо, с реальностью беспощадной. Тяжело смотреть, но помогает некий свет, идущий из самой-самой глубины. Свет любви. Фильм и называется: “Любовь”. Посмотрев, подумал, что создатели фильма достойны самой большой награды — за свет любви, найденный во мраке. А потом узнал с большим удовлетворением, что они её и получили: Золотую пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля.

* * *

Если остановить внимание на чём-нибудь обыденном, примелькавшемся — дереве во дворе, сарайчике дворовом, заборе, трубе котельной с дымом из неё, — то это становится всё интереснее, значительнее, красивей даже. И непонятно: то ли ты это наконец-то рассмотрел, то ли оно в тебе самом создалось-возникло. Во всяком случае, время, потраченное на внимание к миру, никогда не пропадает зря. И с людьми так же. Кажется, ну, скучен человек, сер, глуп, а присмотришься — всё равно интересен, даже и глупостью своей. Поймёшь вдруг, что она, глупость, ему жить-выживать помогает очевидно, да и серость маскировочная тоже. Так, может, это не глупость и не серость, а нечто иное совсем, если поглубже копнуть?

Да и самое-самое примитивное поражает. Вот живёт себе какая-нибудь инфузория-туфелька миллионы лет и главную задачу всего живого — род продолжить — блестяще выполняет. А мы, “венец” эволюции, с разумом своим высоким, глядишь, сами себя и угробим...

* * *

Говорят, все люди талантливы. Может быть, в молодости и так. А потом куда-то деваются эти таланты с годами у подавляющего большинства. У кого-то затираются житухой-бытовухой, а кто-то полусознанно сам их отодвигает в сторону или даже придушивает. А потому что трудно с талантом, своей реализации требующим, по морю житейскому плыть-выплыть — утонуть можно. Вот и выбрасывают его, как лишний груз. Игра на

понижение, так это я про себя называю. Очень немногим удаётся выдержать бремя таланта и, тем более, хлеб насущный от него иметь.

* * *

В любви к России, стране мучительно тяжёлой, трагической, ужасной даже порой, есть некая тайна. У Блока она чуть приоткрывается: “Россия, нищая Россия, // Мне избы серые твои, // Твои мне песни ветровые, // Как слезы первые любви...”. И у Бунина в беспощадной его “Деревне” всё равно проступает из глубины всё та же любовь.

Теперешнюю Россию любить ещё трудней, чем тогдашнюю, но ведь можно, несмотря ни на что. Шествие Бессмертного полка нам это вдруг показало. Великой жертвой, великой кровью эта любовь выкуплена и будет жить, пока жива Россия. Говорят: вспышка патриотизма. Что ж, значит, есть чему вспыхнуть. И будет вспыхивать и даже гореть, когда нужно...

* * *

Самое крупное разделение людей по складу личности: надвое. Экстраверты и интроверты, художники и мыслители, практики и мечтатели, оптимисты и пессимисты... А ещё в этом двойном ряду есть люди любви и люди ненависти. Первые тяготеют к Богу, а вторые — к дьяволу. Особенности того или иного времени призывают и побуждают к активному действию то первых, то вторых. Двадцатый век особенно явно призывал и побуждал людей ненависти, а люди любви защищались, пересиливая, в конце концов, с огромными жертвами и трудом. Что-то покажет век 21-й? Главная его опасность и тревога...

* * *

Случается иногда сильно отстающее по времени, внезапное понимание своей любви или ненависти к людям конкретным, к профессии, к месту жительства... Вдруг чувствует человек: люблю! Или: ненавижу! В момент разлук или встреч чаще всего такое случается. Время освобождает суть от застилающих взгляд мелочей, и человек понимает внезапно: вот как! А я и не знал... Всё чаще с людьми это бывает, особенно с женщинами.

* * *

“Черт меня догадал родиться в России с умом и талантом”, — Пушкин написал. А ведь лучшего положения, чем он, ни один поэт в России в последующем и не имел, пожалуй. Императоры, оба, его берегли, а то и помогали. Александр за оду “Вольность” со строфой “Самовластительный злодей! // Тебя, твой трон я ненавижу, // Твою погибель, смерть детей // С жестокой радостью вижу...” всего-навсего направил его служить на юг, в Кишинёв, подальше от Петербурга. Не в ссылку направил, как часто пишут, а именно на службу. Николай на дружескую близость его ко многим декабристам посмотрел сквозь пальцы, за “Гаврилиаду” простил, получив от него личное, объяснительное письмо. На службу историографом взял с жалованьем немалым, денег ссудил на печатание “Истории Пугачёва”...

Это с высшей властью дела, но ведь и зарабатывал Александр Сергеевич, как никто из поэтов потом. По золотому за “стих”, стихотворную строчку то есть, иногда получал...

На рождение же своё в России он посетовал скорей всего сгоряча, в минуту, особенно горькую, которая накатила да и ушла...

* * *

В любом деле доля брeмени есть. В любимом, твоём именно, его нести и терпеть нетрудно, в чуждом же тяжко до невыносимости. Вот и ищи “своё” дело, не жалея времени и сил, чтобы не мучиться потом.

Есть брeмя и в деле веры: “Иго Мое благо и брeмя Мое легко”. Брeмя это для всех христиан одно-единое: жертвенная любовь.

* * *

На одной из икон “Сошествие Христа во ад” Христос поражает дьявола “копьём радости” — так обозначил иконописец. Поразительно! Самая суть, самый центр зла поражается самой сутью, самым центром добра и любви. Вот тут, может быть, и показана возможность покаяния и, в конечном счёте, спасения самого дьявола, которое христианским богословием не исключается.

* * *

Включил настенную лампу и ночная бабочка — бражник — заметалась вокруг неё. Надо ловить, иначе спокойно не считаешь. Прижал, в конце концов, её ладонью, отпустил, и она упала за спинку дивана, в темноту. Легонько прижал, но пятнышко пыльцы на стене все-таки осталось. Больше бабочка не вылетела, о чём я вдруг и пожалел. А на следующий день появилась: та самая, конечно. Отошла, отлежалась. Обрадовался, словно некий грех мне неожиданно простили.

* * *

Первый зазимок радует всегда, словно страница жизни исписанная, исчерканная, грязная перевернулась вдруг и перед тобой белая, чистая. Вот и пиши на ней что-нибудь новое совсем и очень хорошее. Только вот откуда взять его?

Или зима глубокая, долгая, тяжкая, и вдруг день голубой, солнечный, нежный откуда-то выпрыгнул и чудится на миг — весна! И понимаешь тут же — нет, обманка. Так же и с самочувствием бывает. Проснёшься — двадцать лет с костей! И тоже понимаешь вскоре: нет, обманка. Грустны, но ведь и хороши, и нужны обманки эти, пусть бы случались почаще...

* * *

Поэзия, поэтичность вообще в литературе, искусстве и жизни самой, есть, может быть, составляющая часть мироздания. И если убрать эту часть, то мир в чём-то существенном станет иным, хуже. Тут прямая связь с Богом-Творцом, который переводится с древнегреческого, как Бог-Поэт, и с Христом, который есть Бог-Слово.

* * *

“Мы с тобой на кухне посидим, // сладко пахнет белый керосин”, — из Мандельштама. Считаешь и соглашаешься — да, сладко пахнет, да, белый. А в реальном керосине не найдёшь ни того, ни другого. Так откуда же согласие при чтении? Тайна. Много таких тайн в поэзии и даже в прозе. Прочитаешь в “Хаджи-Мурате” Толстого про “наглые маргаритки” и примешь это вполне, а посмотришь на них живых — маленькие, беленькие, скромненькие... Магия слова тут работает, когда оно оказывается творцом и началом

реальности. Как и сказано в Евангелии от Иоанна: “Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог”.

* * *

“Посмотреть бы хоть одним глазком”, — не раз слышал это общечеловеческое, уверен, желание. Трогательное, робкое: посмотреть “оттуда” — “сюда”. Как дети, внуки и правнуки живут, как вообще всё? “Оттуда” никто никогда не вернулся, не рассказал, как “там”. А вот “одним глазком” неужели нельзя будет “сюда” заглянуть? Не соглашается никак с такой невозможностью сердце и правильно делает...

* * *

У кубанских казаков, моих предков по отцу, было принято не ходить на людях рядом с женой. Она должна была отставать от мужа на некоторое расстояние — для того, чтобы видом пары семейной боль одиночества у вдов, на войне мужей потерявших, не бередить. Такая деликатность, о которой теперь и помыслить нельзя.

К тому же относится отчасти и смутный стыд, с которым я выходил в детстве на улицу в новых, к примеру, штанах. Нехорошо было выделяться из обычного уровня послевоенной нищеты всеобщей: теперь только это понял...

* * *

Большинство сотрудников хосписов уходят с такой работы довольно скоро, но некоторые остаются очень надолго. Призвание своё находят в том, чтобы помочь больным в их последние дни, часы и минуты. Тяжело это, конечно, но ведь что-то оно и даёт, совершенно особенное. Присмотр и помощь людям в самом главном и таинственном — в переходе из жизни в смерть, из времени в вечность. Есть тут к чему припасть собственной душой, укрепить её, очистить и возвысить...

* * *

Самое опасное для народа — потеря самоуважения. Это и происходило в России постепенно, начиная с 90-х годов прошлого века. Лишь возвращение Крыма его, самоуважение, вернуло, хотя бы отчасти. Платить (в общем, широком смысле) приходится за это много, но тут никакая плата не велика.

Не менее страшна потеря самоуважения для каждого отдельного человека. А определяется его сохранность той гранью в душе, которая (в смысле уступок обстоятельствам) непереступима. Тут лучше умереть, но не отступить. У каждого эта грань своя, и уважающий себя человек всегда её чувствует и знает, что на ней он станет насмерть. Когда-то такое называлось “пункт чести”. Теперь это во внешней, социальной жизни размыто, потеряно почти и живёт лишь в душе каждого отдельного человека (если живёт, конечно). И людей, у которых этого чувства уже нет, становится всё больше; тут одна из важнейших причин разложения и гибели стран и народов.

* * *

Для каждого, возможно, есть некая лучшая, идеальная даже природа-погода. Для меня это родная лесостепь холмистая, река-речка, лета верхушка, сухой зной с ветерком, редкие белые облака на голубом небе... Живёшь среди всего этого праздно и думаешь: вот так бы всё и оставить навсегда, быть,

как паучок в янтаре... И случилось похожее, и длилось день за днём. Только вот не создан человек для райского такого блаженства, тяготит оно начинается исподволь, мало-помалу. И начинаешь полусознанно стремиться изменить его. словно щепотка соли в этой сладости нужна, негатив некий, нарушение равновесия, к действию посыл. А ещё и чувство тайной, глухой вины накапливается, тревожит, к перемене, пусть и к худшему, подталкивает. Ну, и делаешь что-нибудь резкое, для самого себя неожиданное, да из райского своего состояния и выскочишь. И правильно: не по чину была честь! В трудовом поте лица обязан жить человек, а не блаженствовать в праздности...

* * *

В гениальном рассказе Андрея Платонова “Река Потудань” герой рассказа из-за духовной высоты и силы любви к своей подруге оказывается несостоятельным по отношению к ней как мужчина. А ещё от двух знакомых слышал рассказы о том, что они не могли есть в присутствии своих любимых, кусок в горло не шёл. Можно представить себе и монаха, который, забывая о еде за молитвой, падает в голодный обморок. Выходит из всего этого, что высшая степень любви к человеку или Богу мало совместима с жизнью земной и указывает путь к жизни небесной, уход в неё...

* * *

“Тоже хочу за ручку походить”, — сказал когда-то бездетный приятель, встретив меня с маленьким сыном. С болью прямо-таки сказал. Руки, ручки... После лица ближе всего они к душе человеческой стоят. Взять за руку — самый первый жест любви, кто этого не помнит...

А потом, глядишь, и предлагают именно руку и сердце. Или, подтверждая верность и надёжность в важном каком-нибудь деле, “ручаются” именно. И много ещё есть похожего...

Лучшее же в теле человеческом, пожалуй, это изношенные тяжелой работой руки. Ну, и лицо похожее, рабочее, старое. И глаза на нём — спокойные, потому что видели всё, что дано вообще увидеть в жизни. Нет ничего прекраснее на свете лица такого человеческого, глаз и рук.

* * *

Жалко хлеб. Стал есть его, как богатый: чуть-чуть, почти символически. А когда-то, да не так и давно, первая была еда...

* * *

“Не зрим ли каждый день гробов, // седин дряхлеющей Вселенной”. Даже не зная автора этих стихов, можно угадать по краткости и мощи — Державин. И какое сопоставление смелости редчайшей — Вселенная и какие-то наши гробы. До “седин Вселенной” их возвысил!

А Вселенная и впрямь “дряхлеет”, к тепловой смерти идёт. Всё материальное имеет свой конец, и лишь духовное этого избегает: “Улетит и погаснет ракета, // Потускнеют огней вороха, // Вечно светит лишь сердце поэта // В целомудренной бездне стиха”. А это Заболоцкий, Державину в чём-то близкий.

* * *

Пришлось недавно увидеть наших местных художников в полном сборе. В большинстве пожилые и старые. Художники, но лица какие у многих простецкие, рабоче-крестьянские, изношенные жизнью, трудом, а то и алкоголем.

Милые такие барбосы. И самому захотелось иметь такое лицо. Да, пожа-луй, и имею.

* * *

Есть некое соответствие живописной техники с той или иной писательской манерой, стилем. Один пишет как бы акварелью, другой — маслом, третий — пастелью... А иной, вообще, — как график суровый. И с материалом скульпторов похожесть у писателей есть: то бронза, то гипс, то мрамор, то шамот... Всё это мелкий, один из многих-многих, доводов к тому, что дерево искусства, художества из единого корня растёт.

* * *

Всегда внутренне морщусь при виде здоровенных рваных дыр на джинсах девиц и парней. Что-то здесь оскорбительное есть для той нищеты, которая подобные дыры имеет из нужды, а не для забавы. Это как если бы сильно хромающего человека вдруг передразнивать кто-нибудь начал...

* * *

Услышал от сына фразу, где-то им вычитанную: “Ничего, умрём не хуже людей”. Как хорошо! И забавно, и смешно, и мудро. Можно крупно написать и к стенке приклеить: для бодрости и утешения.

* * *

Видел прополку огромной клумбы в сквере. Четыре женщины работали и два старика. Напряжённо, быстро, почти не разгибаясь. Оно и понятно — сделщина. Но ведь ещё и бодрость в работе этой нелёгкой была, смех, шутки... Откуда? А от самой работы, от видимого результата её: часть вычищенной клумбы растёт на глазах, часть сорной уменьшается.

Можно оду написать простой работе, видам её разным, всё с тем же веселящим, бодрящим эффектом. В такой работе очень важно, чтобы результат — продукт — сразу виден был. А отодвигание, “отчуждение” от результата (Маркс это первый отметил) эффект интереса и радости от неё гасит вплоть до отвращения. Такой работы — без “отчуждения” — становится все меньше, не престижна она, оплачивается плохо, но люди всё равно, пусть и подсознательно, тоскуют по ней.

Прикинул вдруг “мою”, самую милую мне “простую” работу. Любопыт-но вышло — скот пасти. Да и опыт небольшой есть — помогал когда-то па-стуху-приятелю...

* * *

“Стихотворение — это поцелуй, который поэт дарит миру, но от поце-луев дети не рождаются” — Гёте. Какая-то странная грусть есть в этой фразе. О чём? О том ли, что поэзия не способна реально влиять на мир вещей? Но ведь способна, если “В начале было Слово...”

* * *

Есть люди, слепые и глухие от рождения. Трудно, невозможно почти представить, что в душах их, во тьме и беззвучии пребывающих... Дух Бо-жий, что ж ещё? Он и позволяет научить их общаться с другими людьми, и читать, и писать. И не случайно, быть может, что именно в интернете,

рядом с Троице-Сергиевой лаврой расположенном, такого впервые в мире добились наши психологи и врачи. Чудо, явленное в святом месте.

* * *

Что нужно больше всего молодым, во взрослую жизнь вступающим? И родным, и близким, и всем остальным тоже. Счастье, часть, доля. Свою долю получить, не оказаться обделённым на празднике жизни. А суть этой доли — любовь. К делу своему, к семье своей, близким своим и дальним. Вокруг любви всё создаётся и укрепляется, как жемчужина вокруг песчинки. А без этой песчинки, Богом дарованной, всё рассыпается и теряет смысл. Сколько усилий ни прилагай, сколько ни обретай денег и власти, всё разваливаться будет прямо под руками. Замысел порочен изначально, и строительный раствор не держит, силы в нём нет. Той самой любви.

* * *

Есть у Ван Гога картины, на которых изображено что-нибудь самое неприглядное: то размокшая, грязнейшая осенняя дорога, небо непроглядно-серое, почти лежащее на земле; то стул дряхлый, на нём смятая бумажка со щепоткой табака... А смотришь и чувствуешь, как прекрасна и дорога, и стул, и бумажка. И стихи Пастернака вспоминаются: “О, Господи, как совершенны // Дела Твои, — думал больной. — // Кровати, и люди, и стены, // Ночь смерти и город ночной”. Также набор не из приятных, но стихи-то прекрасные! А потому что художник и поэт увидели не просто вещи земные, а именно созданные Творцом.

* * *

Из разговора пожилых женщин у овощного ларька.

— Что ж арбуз-то не взяла? Смотри, дешёвка какая!

— Не с кем его есть стало...

Вот она, та самая капля, в которой отражается жизнь.

* * *

“Отряд не заметил потери бойца...”

“Мы за ценой не постоим...”

Строчки из всем известных и очень хороших песен. И удивительно, как в них, невольно, скорей всего, для авторов, один из главных пороков большевистской идеологии сказался. Надо и “замечать”, и “стоять за ценой”, как бы это ни было трудно...

* * *

Подвизался недалеко от Калуги в дремучем лесу монах-отшельник Тихон (святой Тихон Калужский впоследствии). Жил в дупле дуба, питался тем, что Бог даст. Бывали у него, скорей всего, периоды резкого, временно-ослабления веры, когда небеса делались вдруг опустевшими. Ужасное состояние, невыносимое почти. Как жить, как тяготу аскезы крайней терпеть? Одно, наверное, было спасение — молиться и молиться, оживления, укрепления веры упорно ожидая. И дожидался, иначе так долго в таких условиях не выдержать. Страшней всего, наверное, представлялась ему смерть в состоянии маловерия и преодолеть его было — как пустыню безводную перейти, до живой воды веры глубокой добраться...

Нечто похожее и с нами, людьми обычными, происходит время от времени в облегчённой, стёртой форме. И выход тут один, всё тот же: молись, терпи и уповай...

* * *

Старый уже Бунин записал в дневнике, что всю жизнь сторонился цветов, опасаясь страстной к ним привязанности. Непонятно, чего же тут, собственно, опасаться? От литературной работы его бы отвлекла такая привязанность, что ли? Но природу-то вообще он любил, как редко кто, и несравненно её описывал. Почему же именно перед цветами такой страх? Может, это похоже на то, как при большом и напряжённом интересе к женщинам вообще мужчина опасался бы страстно влюбиться в одну, конкретную. А это и тяжело, и мучительно, а то и смертельно опасно...

* * *

Цикличность — важнейшее в природе, и в космосе, и в микромире, и в жизни живой. Один из циклов — соединение старости с воспоминаниями детства, всё большее их укрепление и рост. Образуется, замыкается круг жизни человеческой этим. А вещество, состав круга, как многожильный провод, и проявляется вдруг: то одна прожилка, то другая. Так это и мелькает в памяти одно за другим: вот такая тропинка была и тогда, выпуклая, тугая; вот так луч косой, пыльный падал на пол; вот такая тоненькая девушка в белом шла когда-то навстречу... И это повторение-узнавание приятно, показывая снова и снова, что жизнь состоялась, совершилась уже. И чувствуешь нечто вроде долга выполненного, завершенности большой и долгой работы. А называется она — жизнь прожить...

* * *

Все заметнее с годами смещение к созерцательности, общее, наверное, для всех. Разве что время для этого у каждого своё наступает. Кажется, что расстояние между тобой и созерцаемым миром едва заметно, но неуклонно увеличивается, и не понять толком, то ли ты от мира отдаляешься, то ли он от тебя. Начало прощания в этом, что ж ещё...

* * *

В последние годы исчезли кошмарные сны, сопровождавшие меня десятки лет. Того напряжения жизни, которое через них разрядку находило, теперь нет — и их нет, не нужны стали. Да и энергии, для них необходимой, тоже, наверное, не хватает. И странное огорчение по этому поводу — даже кошмары сниться перестали, такие за целую жизнь привычные. И в них очередная потеря, и их жаль...

А какая есть строка чудесная в старинной, широко известной, песне про самоубийцу, прямо в поле похороненном: “Будут нивы ему хлебородные // беспечальные сны навевать”. Вот этого бы сейчас хотелось вместо ушедших кошмаров: беспечальных снов...

* * *

“На свете счастья нет, но есть покой и воля” — Пушкин.

“Я ищу свободы и покоя” — Лермонтов.

Не обрели первые наши поэты покоя вожделенного: не дожили, может, просто. Немного хорошего старость приносит, и покой как раз в этом числе.

Если старость обычно — нормальная, без особенных бед и перекосов, без зла за спиной, сознательно совершенного, — придёт покой, должен прийти. Уже по одному тому, что жизнь худо-бедно, а прожита. Претерпел, вытянул тяжкую её лямку. Что мог, сделал, а что не сделал, того, пожалуй, и не мог... Тут, в старости, и переоценка сделанного неизбежна. То, что представлялось важным, вдруг помельчает, а мелочи какие-нибудь подрастут. Помощь другому человеку, самая простецкая, например...

* * *

Бог сотворил человека для себя, чтобы одному не быть, — мысль, у кого-то из религиозных философов вычитанная. Что ж, душа на такое вполне отзывается с пониманием. Уж очень оно, одиночество, человеку мучительно знакомо, что даже и к Богу можно его отнести с сочувствием.

* * *

Наступила какая-то приостановка в душевной и умственной работе, не первая, конечно, в жизни, но, возможно, последняя. Кажется, что всё, что был способен узнать и понять, уже знаешь и понимаешь, начинать же некий новый “виток” познания людей и мира нет уже ни времени, ни сил. Да оно и опасно: начнёшь, но и то, что имел, только запутаешь и испортишь. Впрочем, мы тут не вольны, и всё будет, как будет.

* * *

На том месте, где отступающие зимой 41-го года немцы форсировали Оку, стоял памятник — знаменитая наша “полупорка” на высоком пьедестале. А потом её убрали, решив, наверное, что слишком уж вид у неё простецкий, не военный совсем: маленькая, хиленькая, с кабиной фанерной... Но ведь именно поэтому никак нельзя было её убирать, чтобы видели, на какой “тяге” победили мы в самой страшной войне...

У нас в Тиму, райцентре, была сразу после войны одна-единственная машина — та же “полупорка”. Шоферил на ней маленький, бойкий мужичок Пантюха, густо измазанный всегда машинным маслом. Над ним и подшучивали, его и уважали, одновременно как-то. Говорили, например, что машина у него “на спичках ездит”, — с этой именно смесью насмешки и уважения. Ездил он редко, и каждый раз это было для нас, пацанов, как праздник. Следом бежали, бензиновый выхлоп с наслаждением нюхали...

А однажды въехала, мощно гудя, на нашу улицу машина огромная, высоченная, темно-зелёная. Особенно решётки металлические перед фарами запомнились-поразили. Оказалось — “Студебеккер” американский. Хорошо помню и восхищение им, и самому себе непонятную, стыдноватую какую-то обиду.

* * *

Рассказывал старый друг, как не так и давно, будучи в годах уже весьма серьёзных, рыбачил он на северной реке Мерге. Ушёл со спиннингом далеко от стоянки и огромную рыбу поймал. Пошёл с ней, тяжелой, обратно, ослабел вконец, да и упал с рыбой в обнимку. Долго лежал, никак в себя прийти не мог, с силами собраться. Ну, я и пошутил: “Вот когда помирать надо было, с добычей в руках! Хорошая смерть, как в бою почти...” Посмеялись, как водится, а теперь я думаю, что, возможно, вспоминает он этот случай в тяжёлые, одинокие ночные минуты и жалеет, что случай тот возвращением на стоянку вместе с рыбой закончился. И в шутку жалеет, но чуть и всерьёз. А можно и вполне серьёзно пожалеть, только тут совсем уж особое состояние нужно и минута особая...

“Будьте, как дети”, — заповедь Христова. Представишь такое и поразишься: как она легка, желанна для исполнения и как одновременно трудна и неподъёмно тяжела. Попробуй исполнять её постоянно, и дурачком, юродивым тебя сочтут: ноша окажется тяжелейшая. К святости это дорога, самая трудная, может быть... А если попроще посмотреть, по-житейски, поведение людей в самом близком, родственном, дружеском кругу вспомнить, то много из этой заповеди и исполняется, и радость даёт, и облегчение. Ведь, играя с малыми детьми, мы и сами, неизбежно, так или иначе, детьми становимся, переживая при этом самые счастливые в жизни минуты. Вяземский застал однажды Пушкина и своего маленького сына Павла ползающими по полу на четвереньках и с хохотом плюющими друг в друга... А старый уже Толстой вспрыгнул однажды на спину зятя своего Берса, прокатиться на нём захотев... Вот всем бы такое или подобное делать почаще, так и жизнь бы легче сделалась. И богоугодней.

* * *

“Старый, что малый”, — народное наблюдение. Слабость, а то и беспомощность физическая и умственная имеется тут, конечно, в виду, но есть и иное сближение. В непосредственности, первичности, с которой воспринимают старики и дети окружающий мир и реагируют на него. А ещё и воспоминания старости, которые неизбежно и всё больше склоняются к детству. И последнее, что представится, мелькнёт в самом уже конце, скорей всего, из детства и будет.

Но может, конечно, это “последнее” и совсем иным оказаться. Только бы хорошее было и самое поэтому простое.

...Идём втроем с любимой своей Калужки, где провели, купаясь и загорая, целый день. Через поле идём, через лес, опять через поле. Тропинка торная, жара свалила, ветерком чуть потягивает. Первой жена идёт в чудесных голубеньких шортах, за ней — счастливый семилетний сын с шершнем в бутылке, а впереди дом, ужин семейный... Вот так бы всё навсегда и оставить. Идём себе и идём...

* * *

В молодости преобладает интерес и тяга к дальнему и крупному (в широком самом смысле). Там, там, за горами и долами, главное и важнейшее. А в старости больше притягивает и интересуется близкое, доступное, соразмерное человеку или меньше него. Цветок незнакомый внимательно рассмотреть, дерево, причудливо изогнутое трудностями жизни, лицо родного человека, увиденное вдруг, как впервые... И начинает представляться, что ближний мир сложнее, богаче и таинственней дальнего. Да и по науке вроде бы так. Что в космосе? Звёзды да планеты, астероиды да кометы из камня и льда... А вот в микромире сложность бесконечная... Приятно так думать, когда сам ты стар и в дальнюю даль отправиться уже не способен...

* * *

Страсти в старости теряют силу, что с позиции христианской несомненное благо. И любовь “земная” всё больше “небесной” становится, именно что христианской. Естественная такая подвижка к Богу, которая облегчает и просветляет человеческую жизнь. Подобный сдвиг к Нему, только очень резкий, и при крайней опасности для жизни бывает...

* * *

Представляется два пути к Богу. Первый — активный, напряжённый поиск веры: “Царство Божие силой берётся”. А второй путь — путь открытости миру и любви к нему. К людям, прежде всего. И если такая любовь вполне достигается, то человек, даже и не думая о Боге, оказывается при Нём и в Нём.

* * *

“Пламенное бездействие” — из восточной философии выражение. Очень интересно, но на что же, в таком случае, энергия “пламени” идёт? На творчество в личностных пределах разума, души и духа, куда ж ещё?

* * *

Одиночество в старости — особенное и неизбежное, если даже жить в большой семье. Оно, как оболочка некая, невидимая окружает человека, через которую не пройти. И недаром оно даётся, и недаром оно такое. Время для того, чтобы разобраться напоследок в жизни своей, душе своей. Будет суд Божий, а пока — свой собственный, посильный проведи. Да не лукавь, на обстоятельства, на других людей грехи свои не перекладывай...

* * *

“Искать Бога, значит уже иметь Его”, — какая облегчающая, бодрящая душу мудрость. А если вдруг почувствуешь, что нашёл, то всё равно не прекращай усилия, большего понимания Его, большей близости к Нему ищи. И вот это усилие бесконечное уже...

* * *

Христианство — религия любви. “Бог есть любовь”, “Да любите друг друга”. Вот главные в этой вере слова, и я вполне чувствую, что они и только они совершенно мои. Никакие другие. Ну, а если бы пришлось в мусульманской или буддийской стране родиться и жить, как тогда? А пробиваться надо б было всеми силами к своему — к христианству, к Православию. К той же любви, в конечном счёте. И пробился бы, если б Бог дал.

* * *

Ехал как-то из Феодосии. В вагон сел задолго до отхода поезда, и вскоре в купе пара вошла. Обоим лет под сорок, крепенькие, толстенные, вида простецкого и чем-то даже похожи. Оказалось, что едет только он, а она его провожает. Заботливо провожает, но видно, что не жена.

Он и бутылку коньяка на столик выставил, но пить они почему-то не стали, а вскоре и вообще ушли — на перрон, на волю.

Вернулся он, когда поезд уже шёл всюю, и сразу же забрался на вторую полку, отвернувшись к стене.

Вскоре слышу — вздохи тяжкие, стоны почти и, почудилось, даже скрип зубовный. Долго так продолжалось, пока сам я не прилёг и не задремал. Очнулся — по-прежнему двое нас в купе, и по-прежнему, те же вздохи-стоны с верхней полки раздаются. Хотел уже спросить: не болен ли мой сосед, не нужна ли помощь?

Оказалось, что расставание с подругой так на него повлияло. “Места себе не найду. Ломка”, — так он объяснил. Коньяк, кстати, остался стоять в целости, и пили мы с ним только чай. Ездит он из Курска в Феодосию много уже лет к подруге своей то в командировку (была такая возможность), а то и просто так на пару дней “срывается”. В Курске же семья, и отношения в ней вполне хорошие.

“Ломало” его до самого Курска, но к коньяку он так и не прикоснулся, хотя мне выпить предлагал. Объяснил, что от спиртного ему только хуже.

Впервые я вот так, в нагую, видел муку разрыва с любимым человеком, и зрелище оказалось весьма впечатляющим. Интересно, как подруга его себя чувствовала? Неужели так же?

Оказалось, что у неё тоже семья, в которой всё нормально. Не хотят они семьи свои рушить и так вот и живут. В грехе живут, но и камня в них не бросишь. Да и не осудишь даже, пожалуй...

* * *

Насколько крепка привязанность людей к жизни, видно в страстном желании увидеть то, что уже за её гранью, скорей всего. Тяжело и неизлечимо больной Белинский мечтал дожить-таки до завершения первой в России железной дороги; Гёте открытия Суэцкого канала нетерпеливо ожидал в старости глубокой... И мы все, лежа на смертном, может быть, одре, будем хотеть внуков-правнуков подростками увидеть, дом, только начатый, достроенным уже...

Да и по-народному похоже очень выходит: “Помирать собирайся, а жито сей”. А умрёшь, урожая не дождавшись, другие им попользуются. Есть во всём этом даже и некая частица веры христианской...

* * *

Человек — образ и подобие Божие. И это проявляется в человеческих лицах, пусть и редко, но постоянно, надо только суметь увидеть. Тогда и поверишь вполне: да, образ и подобие... А у того, кто увидел такое, благодать возникнет в душе, как будто помолился и ответ на молитву свою получил: вот это самое выражение в человеке образа и подобия Божия. Что-то вроде встречи с Богом, пусть не прямой, а косвенной...

* * *

Время вокзала... А вот он, вокзал, и поезд уже скоро, хотя расписания точного нет: цифры размыты и можно только угадывать пытаться. Пора, во всяком случае, что-то главное из всего бывшего выделить, при нём до конца и остаться. Вот это, пожалуй: Бог есть, жизнь прекрасна, надежда неистребима...

* * *

Анютина осень.

Лучшей осени, как только что минувшая, и не припомню. Всё в ней было: и жара с подкладкой прохлады; и ледяные утра с белой изморозью, и вечера с влажными, со слезой словно, звёздами; и серенькие деньки, смиренные настолько, что даже говорить хотелось виолголосо. А закаты случались такой мощи и красоты, что от долгого их созерцания душа уставать начинала...

И так вот она шла, осень, день за днём, неделя за неделей в наивысшей своей силе и прелести, начиная уже и тревогу потаённую вызывать, ожидание порчи и сбоя...

Осень шла, а жена внука Соня ребёнка тем временем ждала, девочку. Спокойно так ждала, тихо — радостно, умиротворённо, с улыбкой частой и едва заметной на лице. Она с мужем Димой дочку ждала, а остальные члены большой нашей семьи ждали кто племянницу, кто внучку, а кто даже и правнучку...

Когда началась осень, до родов было ещё месяца два, и как-то очень хорошо они совместились: осень чудесная и Соня беременная. Словно искали друг друга и нашли. Да, и нашли: осень — пора плодов, а что же такое младенец, как не плод человеческий...

На улице, на людях мне вдруг беременные женщин стало попадаться гораздо больше, чем обычно. Знакомая картина: и при жене беременной так было, и при невестке тоже. Интерес потому что к такому женскому состоянию становился другим, личным и острым. Приятны они очень были, беременные женщины, животами своими, прибавкой к жизни, не явленной пока...

Родилась девочка, явилась миру! Крошечная, и целый человек настоящий! Из каких глубин и далей пришла? От Бога, в конечном счёте, конечно... А в смысле чисто материальных генов, цепочка генов, вот её путь-дорога: от нас с Ириной к сыну Андрею, от сына и Елены к внуку Дмитрию и Соне... И вдруг Анна — Анюта, вот она! Далековато от нас с женой до неё, но ведь хоть что-нибудь должно уцелеть и проявиться когда-то...

Гены, да, но ведь и любовь наша, которая соединила впервые, начало дала всей этой череде генов, тоже ведь осталась где-то, как звук от удара колокола: уже исчезнувший, но, чудится, чуть слышный ещё...

И на руках я Анюту подержал, и порассматривал внимательно. Больше всего глаза поразили, широко открытые, карие и глядящие то ли в никуда, то ли в неведомую, недоступную нам даль. А ещё и плач был у неё удивительный, напоминающий жалобную, с осенним каким-то оттенком, песню...

Несколько дней после её рождения состояние у меня было совершенно особенным. Потеплело вдруг все внутри и снаружи, со спины особенно. И покой небывалый снизошёл, словно дело некое важнейшее и последнее совершилось в жизни...

Месяца через два после рождения Анюту крестили в ближней нашей, недавно построенной, церкви. На её синие купола я часто поглядываю на прогулках, а то и крещусь неожиданно для самого себя.

Всё прекрасно прошло: и батюшка был хорош — грузный, седой, с лицом приветливо-добрым. И Анюта при довольно-таки долгой и сложной процедуре таинства совсем не плакала, а ведь и на руках её батюшка носил, и волосы с головы срезал, и в купель окунал целых три раза.

Имени ей второго не добавили, но ведь и без того сколько вариантов: от гордо-державного Анна до народно-простецкого Нюра, Нюта, Нюся... И в великой литературе русской имя это одно из главных, рядом с Татьяной, Наташей, Аксиньей...

Одновременно с Анютой крестились ещё двое: старик и старушка. Видать, за всю долгую жизнь так и не собрались сделать это, а откладывать стало уже и опасно: не туда в мире ином можно попасть, куда хочется. А может, вера такая поздняя вдруг на них снизошла...

Стоя в церкви, вспомнил я рассказ матушки своей, как меня крестили зимой 1943 года. Жили мы "под немцами", как тогда говорилось, в маленькой деревушке километрах в десяти от райцентра нашего Тима. Вдруг слух прошёл, что немцы церковь разрешили открыть, и в ней бывает служба. И крестят желающих. Вот тогда матушка с подругой Клавой меня в санках в Тим крестить и повезли, по тропинке, в снегу пробитой. И ведь сделали дело: и батюшку нашли, и обряд совершить уговорили...

В ходе крещения вспомнилось вдруг некое совпадение: родились мы с Анютой в один день, девятнадцатого, только она на месяц позже. Ровно ничего это не значит, а приятно стало. И тут же подумалось совсем уж дико, что, может, осень чудесная не просто так, случайно нас посетила, а что это Анюта её с собой принесла.

Ангельское что-то есть в детях лет до пяти примерно, и оно влияет на нас, воспитывает, жить помогает, работать, терпеть, любить...

Анюта появилась, и все мы, кровные родичи её, стали, на мой взгляд, чуть получше, чем были, даже внешне. Подольше бы продлилось это воспитание и помощь, а иссякать начнёт, то хорошо бы нового гостя в дом с полным ещё запасом детской ангельской сути...

А мысль, когда-то мелькнувшая, что небывало погожую, красивую осень Анюта нам подарила, во мне так и осталась, и терять её не хочется. Спасибо, Анюта!